БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ

ЗАЙЦЕВ

Избранное

КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Борис Константинович Зайцев

Избранное

Серия «Классика русской духовной прозы»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11634193
Избранное / Зайцев Б. К., Сост. Ю. Шигарова, Конс. проф. А. Ужанков: Никея; Москва; 2015
ISBN 978-5-91761-341-3

Аннотация

Борис Константинович Зайцев – писатель, очеркист, мемуарист, переводчик. Один из последних крупных литераторов Серебряного века. Равнодушный к модным литературным течениям своего времени, Зайцев остался верен традициям русской реалистической литературы. Получив признание и известность еще в дореволюционной России, он покинул родину в 1922 году и почти 50 лет провел в эмиграции. Влияние религиозно-философской мысли Н. Бердяева, Л. Шестова, с которыми писатель поддерживал близкие отношения, сказалось на таких его произведениях, как «Афон», «Валаам», «Житие преподобного Сергия».

Содержание

Предисловие 4
Аграфена 6
I 6
II 7
III 8
IV 10
V 11
VI 12
VII 13
VIII 14
IX 15
X 16
XI 17
XII 18
XIII 19
XIV 20
XV 21
XVI 22
XVII 23
XVIII 24
XIX 25
XX 26
XXI 27
XXII 28
XXIII 29
XXIV 30
XXV 31
XXVI 32
XXVII 33
XXVIII 34
XXIX 35
XXX 36
Священник Кронид 37
Улица Святого Николая 42
I 42
II 44
III 46
IV 48
V 51
Уединение 52
Преподобный Сергий Радонежский 56
Предисловие 56
Весна 57
Выступление 59
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Борис Константинович Зайцев
Избранное

Предисловие
«Странный» писатель

Творчество Бориса Зайцева относится к эпохе Серебряного века. Его современниками были те, кто привнес в Россию увлечение антропософией или всерьез интересовался харизматическим сектантством (Андрей Белый, Николай Минский), а то и сами были основоположниками сект (Александр Добролюбов). Борис Зайцев был знаком с этими людьми. Но писал иначе и о другом… Он был странен среди странных серебряновековцев.

Борис Зайцев родился в дворянской семье 2 февраля 1881 года. В Калуге окончил классическую гимназию и реальное училище. По настоянию отца поступил в Императорское Техническое училище, но через год был отчислен за участие в студенческих волнениях. Знание древних языков позволило ему поступить на юридический факультет Московского университета, но и там он проучился всего три года, а затем оставил учебу и всерьез увлекся литературным творчеством.

Он так и не осуществил мечту отца и не стал инженером. Однако именно отец ввел будущего писателя в особый мир литературы. «Столовая в барском доме, в деревне. Висячая лампа над обеденным столом, сейчас еще не накрытым. В узком конце его отец, веселый, причесанный на боковой пробор, читает детям вслух. По временам, когда очень смешно (ему), останавливается, вытирает платком негорькие слезы, увеселяющие, читает, читает дальше. Мы, дети, тоже хохочем, из-за чего, собственно? Но веселый ток идет от книги, и от отца…» – вспоминал Борис Зайцев. Один из комментаторов творчества писателя так отозвался об этих светлых образах детства: «С той восторженной детско-юношеской поры и начинается для Зайцева самая колдовская власть, какую он всю жизнь радостно приемлет, – власть книги».

Совсем молодой Зайцев-литератор становится заметен. В 1901 году при участии Леонида Андреева появляется его первая публикация. В 1902 году его новелла «Волки» печатается в «Книге рассказов и стихотворений» вместе с произведениями Горького, Бунина, Куприна, Андреева, Мамина-Сибиряка. О нем упоминают Валерий Брюсов и Корней Чуковский. Вероятно, уже тогда заметно различие духовных основ творчества православного классика Бориса Зайцева и общепризнанных сегодня классиков Серебряного века. Его самые близкие соратники в мире литературы – Бунин, Телешов, Шмелев. Вместе с ними писатель участвует в кооперативе «Книгоиздательство писателей», сообществе, которое отмежевывается от духовных экспериментов модернизма и заявляет о приверженности реалистическому направлению.

Вот как вспоминает Борис Зайцев свои беседы с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус: «Мережковский завел общий разговор, характера, конечно, возвышенного, религиозно-философского. Гиппиус вдруг перебила его:

– Дмитрий, погоди… Погоди, я вот хочу спросить Зайцева…

Не помню в точности, как она выразилась. Был там только Христос и какая-то мушка. Как бы, по-моему, Христос поступил с мушкой, ползшей по скатерти, – что-то вроде этой чепухи.

Неожиданно для себя я вдруг внутренне вскипел и ответил с почти неприличной резкостью юного, замкнутого самолюбия, почуявшего ловушку, – ответил вроде того, что самый

тон вопроса в отношении Христа считаю кощунственным, – и еще что-то в этом духе (с мужеством отчаяния, когда человек бросается вниз головой со скалы).

Но голова не разбилась, а эффект получился неожиданный: и Дмитрий Сергеич, и сама Гиппиус весело рассмеялись. Отпора мне никакого не было – нечего и связываться с младенцем» («Памяти Мережковского»).

Несмотря на свою обособленность, Зайцев сохраняет теплые отношения с товарищами по цеху и постоянно с ними сотрудничает. Однажды (1913), защищая убеждения коллег, он даже вступает в полемику со своим другом И. А. Буниным, выступившим с резкой критикой литературной деятельности модернистов и футуристов.

И все же он остается другим как для ищущих религиозно-духовных новаций, так и для «атеистов» советской страны. Вот как отозвался Горький о переложении Зайцевым жития Преподобного Сергия Радонежского, которое вы найдете в этой книге: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера “ культурные”. Б. Зайцев пишет жития святых».

Персонажи произведений Зайцева, странники, – словно метафора странности, которая и отличает его от литературной классики той эпохи. Страннические мотивы не покажутся случайными, если знать вторую часть биографии писателя. В 1919–1922 годах он отшельничает в деревне Притыкино, стараясь оградиться от крови и террора «нового мира». Но реальность касается его ощутимо грубо. В 1921 году его арестовывают, однако вскоре отпускают за несуразностью обвинений. В 1922 году он переносит тиф и вскоре уезжает за границу. На родину Зайцев больше не вернется.

Книгу, которую вы держите в руках, открывает «странный» рассказ «Аграфена». Его главный герой (Аграфена) странствует от первой любви, через трагедии и потери к встрече с Богом. Аграфена в светлые моменты ее жизни показана идущей «боковой тропкой большака, священным путем странников». В конце рассказа странная Аграфена совершает свой исход из жизни, наполненной страданиями: «Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и Божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно».

Наиболее известные произведения Зайцева – путевые очерки «Афон» и «Валаам». В них место и время значения не имеют, потому что это повествование о людях, устремленных в вечность, – о монахах афонских и Валаамского монастырей. И все-таки это тоже история странствий. Читая эти путевые заметки, начинаешь догадываться о причинах непопулярности Зайцева при его жизни: он слишком сильно отличался от своих современников. Но прошло время, и теперь мы получили доступ к той части художественной культуры, которая так долго была в изгнании и сокрытии.

Кстати, ближе к концу жизни Борис Зайцев сделал перевод Дантова «Ада». Видимо, это и называется – многогранность.

Дмитрий Дайбов

Аграфена
Повесть

I

На дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо – апрель, под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой от деревни к большаку. И когда она до него дошла, издали, от лесочка ледовского зазвенели колокольчики.

Сквозь светлую мглу утреннюю трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо, тарантас, тройка; вероятно, из усадьбы господской кто.

Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок; почему-то заиграло и забило ее сердце. Вот уже ближе, можно рассмотреть Азиата на пристяжке, как он шеей дугу вычерчивает, кучер Иван – ясно: едут со станции, везут… Через две минуты увидала и кого везут: в синей студенческой фуражке с белым верхом и темно-голубыми глазами «он» – худой и тоненький, с острым лицом и нежным цветом на щеках. Как ни быстро все было, успели они все же увидеть друг друга, обменялись вспыхивающим взором, и укатила тройка, только веселую серую пыль подняла. А Груша вдруг покраснела густо, малиново, когда уже никого не было, и стала что-то смеяться; обрывала полынь с канавки и пугала воробьев на дороге.

День же светлел, над озимью текли стекловидные струи; овсы зеленели, были черны пары.

II

С этих пор началось для нее новое. Та усадьба, куда раньше ходила она на поденную – обыкновеннейшее поместье, – стала особенной. Там где-то вглуби сидел «он», синеглазый и тонкий, занимался со своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили золотую солому, в поле, к скотному.

Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала Груша все об одном: вдруг его встретит. И это давало заманчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята – желтые, в пуху, или бродяжничанью в березовом леску за вениками.

Иногда по ночам он ей снился – в синеющей дымке; утром она просыпалась счастливая и измученная, в светлом тумане слышанных слов, счастья, дрожи.

А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось, он взялся бродить с ружьем за усадьбой, особенно по вечерам, на тягу. Уже не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы, там он сидел, и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя: сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко, точно и не сам он тут.

Так было и в тот вечер апрельский, алый и нежный; чуть вились комары, березки стояли в зеленом дыму, а Груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую, по шатучим кладкам. Было прозрачно; в плавной воде мелькнуло слабое Грушино отраженье, легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье – тоненький ствол чернел в деревьях – и ждал вальдшнепов…

– Здравствуйте, Груша!

– Здравствуйте!..

Она замялась. Точно что-то сказать хотела, да не могла.

– За охотой ходите…

Он улыбнулся. Стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле цвели ее милые карие глаза.

– Да, за охотой. Вальдшнепов караулю.

Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть отшатнулась, он прислонил ружье к березке, смутно обнял ее и глубоко поцеловал в губы.

III

Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним, и скаты розовели, окровавившись «зарей», медвянолипкой пурпурной травкой.

Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в «его» окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. И целый день в одинокой комнате сладко пахло белым, нежным.

Встречались они мало; больше он сидел за делом, «книжки читает», как говорили в усадьбе: около флигеля запрещалось громко разговаривать.

Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно – слишком он не умел справляться с вилами, навивкой возов, но когда на лугу, где Груша с девками сгребала сено, появлялся он, в белом кителе и с опаленным зноем лицом, сердце Груши, как всегда, падало. «Господи, надорвется, – думала, а он, напрягая все тонкое тело, с раскрасневшимися щеками, подымал на вилах стопу сена. – Ахнет, сразу сердце оборвется, и конец». Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она и от того раза почувствовала к нему тайную, трепетную близость, все же был он и безмерно далек. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в риге, мечтая о нем, тонкая грусть оплетала ей душу; весь он казался ей тогда царевичем из сказки – тем, чего не бывает и о чем томятся.

Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые, круглые облачка. Им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой.

Груша вспыхивала и гнала рысью; телега гремела, они оба смеялись, так его бросало из конца в конец. Седые березы, под которыми они катили, струились длинными ветвями-прядями, будто посмеиваясь: «Знаем, мол, молодых этих ребят. Дай отъехать подальше, целоваться будут». И они на самом деле целовались, убирая эту бедную копенку, – шалили, вздрагивая и краснея.

Воз был почти уже навит, они устали и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось книзу. Незаметно наступил тот кроткий, предвечерний час, когда золотее все, умереннее и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду чистую и бесконечную.

– Умучились вы очень, ветерком бы обдуло, – сказала Груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал.

– Ничего, пустое.

Они сидели. Под тихую жвачку Прахонного умолкали их души. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее темная печаль: точно облако встало. Что-то было в ней, а сказать она не умела, боялась.

Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал:

– Отчего так бывает, смотришь на небо, и облачка такие, – кажется, когда-то в детстве видел это, – а когда, не помнишь. И как тогда чудесно было… Вот и лето, и все, а тогда было другое.

Груше с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий, – такой, как когда читает книги или смотрит часами в одно место.

– Вы на то лето опять приедете? – вдруг спросила она – и под сердцем прошло что-то. Он не ответил, потом произнес:

– Может быть.

«Может быть». А может, и нет?

Груша молчала. Долго они сидели так, без слов, а потом вдруг теплые слезы, светлые и соленые, подступили ей к глазам, с такой силой она поняла – никогда, никогда не быть им вместе, не знать счастья, кроме сейчашнего, – что уткнулась ему в рукав и плакала обильно, долго.

Понял и он; улыбался ласково, печально и гладил ее по затылку. Потом слабо поцеловал и встал.

IV

В августе убирали овес; было тихо, тепло, даже душно; много сереньких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крылами; а вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, восходит над полями в меланхолии. Тогда унылее и пахучее полыни над дорогами и над кладбищем деревенским низко плывет лунь.

«Он» в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде; заезжал вдаль, к одинокому лесочку на взгорке, среди нив, клал «коня» рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, на деревню, где жила Груша, и вид безмерных родных равнин вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки Грушу, когда она возвращалась домой; спрятав велосипед в овсах, шел с нею рядом. Она напевала, а спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели; иной раз тихую ночную птицу вспугивали они, двое, из-под ног.

Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело Грушино сердце о разлуке. Точно сильнее и глубже вошел он в нее от этого, и когда, распрощавшись у риг, добредала она до дому, то глядела на загадочные облака над солнцем угасающим и думала, что так же растает и он, так же золотой, недосягаемо-чудесный, – и снова сладкие, смертные муки томили ее, по ночам она не спала, и отблеск того же нездешнего, светивший в нем, почил на ней.

А в последний вечер, когда целовал он ее на прощание и овсы шептали, обняла она его колени и не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, а она стояла на коленях и молилась вслух полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, посетившей в тот вечер нивы. И ее голос был услышан; ее детское горе исходило слезами; как таяли облачки – таяла скорбь в ее сердце, оставалась заплаканная душа, посветлевшая и опрозраченная.

Он же покинул в это время те края, не возвращался больше и пребыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собой любовь, томленье, тихие восторги и несколько не слишком щедрых поцелуев.

V

Прошло четыре года. Аграфена жила в маленьком городе, занесенном снегом и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела; жить же в этой светлой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось.

Сильно топили; было тепло, а там, за стенами, стлались далекие снега, полусонный город, мятели; здесь же бродила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного, а другой мальчик ходил в гимназию – первый класс.

А Аграфене думалось, что, живя здесь, хлопоча в кухне, таская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую, спокойную жизнь.

По субботам, отпросившись у барыни, бегала наискось в церковь через заснеженную улицу, увязая, обдаваемая острым и жгучим зимним духом, пила его, как дивное вино, в церкви скромно становилась сбоку, слушая «Свете Тихий…».

Пел хор гимназистов; светло мерцали и струились свечи, золотели, мигали. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью; и среди тихих напевов нежданно вставал некто дивный и грозный; случалось – вдруг пред лицом этих риз на иконостасе, от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, похожего будто на Христа, веяло таким безмерным, что она в ужасе спрашивала себя: верю или не верю? Вдруг, если не довольно верю, не живу с мужем, посты плохо чту, – вдруг тогда и конец, и спасенья нет, ад и проклятье?

С этими вопросами обратилась она раз к барыне:

– У вас, может, у господ, и вовсе в Бога не веруют, а нам как?

Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво и к Аграфе не ласково:

– В Бога я верю, Аграфена, вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать; объяснить не могу, а наверно, думаю, что нет. Нету такого ада, незачем: и здесь на земле достаточно.

Аграфена ушла к себе мыть чашки, все о том же думая: «На земле достаточно…» Так и барыня: спокойная, не сердится никогда, детей ласкает, а сама думает, и точит в ней что, – под глазами круги, блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью, крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая, барыня; будто длинное что, неизбывное, томило ее; и в те долгие ночи зимой должна была она его изжить. Аграфена вздыхала, широким мужичьим крестом крестясь «за спокой» доброй барыни.

VI

Подошли Святки; бело-тихие, точно приплыли по безбрежным снегам. Барыня делала елку Коле; никого не было, кроме Аграфены; елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и как всегда – бледная тень ходила по ее прозрачному лицу, а соседки-кухарки говорили Аграфене: «Вот смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали, все по-разному, одно: сзади лежала сердечная история.

Отец Дмитрий, однако, был; служил молебен, кропил, и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня.

Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал; они с барыней говорили как два вежливых и всегдашних противника.

– У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь.

Барыня улыбалась.

– Это и есть монастырь.

Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренно-неодобряющее.

Потом опять забелели снега; синела по ночам лампадка в большой детской, барыня целые ночи бродила с грудным: он пищал, кис, было безмолвно, и если ночь выпадала лунная, голубело и там, в тихо сверкающем снеге; таинственное, слышное только ей одной, наполняло тогда квартиру и город; вспоминалось о далеких днях – любви и невозможности, и хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, унестись по белеющим полям вместе с тем, который…

В кухне спала Аграфена; барыня, подходя к двери, улыбалась на нее; иногда даже смотрела по нескольку минут. «Знала она или не знала такое?» И вдруг ей казалось, что она прозревает одним взглядом в жизнь этой Аграфены и остро, подробно видит, что дано ей испытать, испить и пережить.

Тогда она ходила подолгу с грудным из угла в угол, погружаясь в лунные колонны и выходя из них, и седая печаль повивала ей голову: печаль, ровесница самому миру.

VII

Ветры подули, потекли снега, мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней; бурно закипало по ночам сердце, томилась она и заплакала даже раз – ручьями, неизвестно о чем.

Но судьба ей была дана: в те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр. На дворе его боялись и не любили; очень больно умел сказать, сплевывал гениально, и, когда мчался в санках на Звездочке, глядеть дух занимало.

Аграфена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади, а он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног, так что шарахнулась даже в подъезд.

– Эй, ты, малина!

И по тому, как он сказал это, поняла она: что бы ни велел этим голосом – удаль, наглость, сила в нем, – все она сделает.

К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика; сумеречилось, сиреневело, чуть желтели огоньки фонарные; легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, вся вздрагивая, внутренне холодея; вот и дрова, милые такие, пахучие – и там у каретного кто-то возится, пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей…

– Али потеряла что, молодка?

Острый запах цигарки, картуз ловкий, крепкие, как из жил, руки.

– Так уж, потеряла или нет, про то вам знать не приходится…

– Ой ли?

И все ближе он, жутко, голова мутит, – ясно: не уйдешь.

– Ой ли?

Дверка захлопнута, и как он дрожит, как целует, как наверное она знает, что уж это не то, что тогда, тихой весной, здесь кровь и огонь, огонь и беспощадность.

Через четверть часа бежала Аграфена через двор с дровами, домой, легко-пьяная и не себе уже принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цигарку у ворот, и жадный, победный огонь лился из его глаз: весь свет казался ему добычей, а борьба – жгучей и опьянительной.

VIII

Летели дни, так же ходила барыня с ребенком, теплом веяло с неба, зазеленело все, – Аграфена горела. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего, да и не надо – вся полна собой, кровавой своей любовью.

Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытьи, глядя на звезды, а потом легко, сомнамбулически, ведомая властью светил любовных, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из-за сада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце: там он видел слушавшую Аграфену, потом ловкие шаги – он.

Так, в майской тьме, задыхаясь на сене, трепеща от любви, зачала Аграфена новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала. Но уйдя от него, когда забелел восток, пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо; матовой пеленой одели росы траву, молодые яблони стояли все в цвету – белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, вдруг слабо завела свое курлыканье горлинка. Под сердцем Аграфены билась жизнь. Она стояла, точно предстала перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд Его благодати и ужаса, и некто тихою десницей навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной.

IX

С того дня Аграфена стала спокойнее, строже; даже барыня удивлялась: «Вы будто, Аграфена, поумнели», – говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка, молчала. Но в душе у нее вставало нечто, чего раньше она не знала: будто тень от дальнего, жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю: «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно».

На дворе над нею зубоскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтобы дать себя бабе в кабалу: пусть бы глядела, неравно другую подцепит.

– Все, милая, изменщики они, все ироды, была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила.

Аграфена сердилась:

– Петя не изменщик. Не лисица какая-нибудь. Лысая кухарка охала. Мало верила Петру, как и другим.

– Присматривай, девушка, присматривай. Наше дело женское.

И правда – этого Аграфена не могла отрицать – Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней; в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое.

– Петя, знаешь ты, я за тебя в огонь и в воду, на адскую муку согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем… Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного моего сокола поминать.

И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки, но он был равнодушен.

– Наживу денег, уйду на Волгу. Эх ты, кура, кура. И ласкал буйно, небрежно, точно правда рожден был для другого: блеска, шума, вольно-безбрежной разбойницкой жизни.

Аграфене же нравилось все, даже что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жути за ночь, она шла в белую кухню и, слушая, как медленно ходит из угла в угол с грудным барыня, тяжело и сладко засыпала: без сновидений, с глубоким томлением.

X

В ночь начала июня, как назначено было, накинув платок и дрожа, озираемая тем же месяцем, что в дни счастья и зачатия заглядывал на сеновал, Аграфена кралась туда же, к своей заветной лесенке на сенник; как раньше, сопели внизу коровы, телятки бормотали детскими губами и чуть скрипели досточки лестницы. Вот и сено – душное и пьянительное, как сладкое луговое вино, – и то место, за поперечной балкой, что было ими облюбовано и где любили они так бурно. Но что? Или слух изменяет? Движенье. Возятся, хохочут. Поцелуй, такой же, там же…

– Петя! Смолкли.

Голос – злой, чужой.

– Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или в службу нанялась?

– Петя…

Но остановилось сердце, нету ему ходу – видит она с ним там другую, блудящую девку Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах.

– Прочь пошла, слышишь – вон!

– Петя, Петюшка, разве ж тебя не любила? Разве душу тебе не дала, Петя, родненький, за что?

Он не слушал. Схватил сильными руками и столкнул вниз с крутой лесенки, так что упала оземь, разбила верхнюю губу. И лежала долго в забытьи. А он запер дверь.

Много позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо, всю ночь у окна; было безмолвно в ее душе, стояла пустота, палимая бесплотным огнем. И только временами чуяла жажду какую-то, пила; потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным, готовым каждую секунду лопнуть: проснувшись – сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать – медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, выйдя утром в сереньком своем халате, бледная и сухенькая.

И как была она женщина, сразу поняла все.

– Не плачьте, Аграфена, не тужите. Вот полюбите еще, новое счастье узнаете.

Барыня положила руки на Аграфенину голову и говорила что-то глазами. Светлыми и скорбными, прошедшими через многие печали мира и вынесшими из них свое знание.

Так познала Аграфена первую свою женскую муку, огнепалимую и ненасытную. Муку отверженной.

XI

К новому году Аграфена родила. В это время она уже не жила у прежней барыни, которая внезапно уехала куда-то и навсегда пропала с ее глаз. Также не было и Петра; он ушел оттуда еще летом, чужой и недругом. Но теперь все это было для нее далеким, щемящим, над чем время возводило свои усыпляющие терема.

С девочкой на места не брали, поэтому пришлось отдать ее в деревню. Это тоже было горько, но необходимо. И Аграфена снесла это твердо, только бледнела.

Оставшись же одна, она стала внутренне собранной, готовой на нелюдимую тяжелую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства – но хранящей суровую отчужденность и только временами плачущей, в одинокие ночи, о невозможном.

Так блуждала она довольно долго. Понемногу годы, утомляя своим волнообразным всплеском, качая на своих гребнях, ввели ее в возраст тридцати лет, когда жизнь кажется наполовину прожитой, в голове пробегает волос серебряный – глубже в лоб врезается морщина.

XII

Теперь место Аграфене вышло в доме госпожи Люце, в том же городе. Она была кухаркой; жила в подвальном этаже, в тесной кухне и видала оттуда медленную жизнь, протекавшую вокруг и наверху.

Госпожа Люце имела мастерскую; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя. Там жила старая няня, взрастившая госпожу Люце, и ее старик муж, Мунька. Этот походил на снежно-серебряную копну; двигался медленно, иногда в низенькой закопченной кухоньке разговаривал с Аграфеной. На нее это действовало тяжело: стоит Мунька старый-старый, восьмидесятилетний, как древнее привидение, и бормочет:

– Было это в пятьдесят пятом году. В Останкине тогда жил покойный император, Александр Второй.

Или:

– Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.

Темная тень – годов, императоров, битв, войн – ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? Когда? Что будет «там»? И вначале, как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас – а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь, – от которого она холодела раньше.

Теперь, с годами и размышлениями, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, как крылатая царица, звучала бархатно-черным тоном. Но на фоне этого мрака просветленнее, трогательнее сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым им, весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это! Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.

XIII

В ноябре, среди ранних диких мятелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно – и стала ходить в музыкальное училище, а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире бывал Бетховен и старые немцы. Под их звуки тетушка мернее вертела колесом и туманнее думала о днях былых, когда с покойным ныне мужем они вели ясную жизнь, в любви и дружбе.

Также в Аграфенину кухню сходили эти голоса. Она мало их понимала, но почему-то от того, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.

– Нашего Костю никогда не слыхать, – говорила тетушка. – Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.

Клавдия улыбалась – точно была с ним в заговоре.

– Он думает.

– Ах, Клаша, все-такось рано с этих пор думать. Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.

Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом; ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.

XIV

Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями. Теперь она не могла бы рыдать исходя в буре слез, сухая печаль ложилась вокруг рта кольцом, въедающимся и маловидным снаружи.

Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены – как они тихо лежат и как долго! Как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило и слышны были точно слова – детские и обаятельные. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас, и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.

Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.

В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме, соскочила с постели; жарко было, заливалось сердце бешеной дробью…

– Бабушка! – крикнула она няне. Не ответили. В соседней камере хрипело и возилось, свет вдруг резко ударил сквозь щель, лег тоненькой жилкой, и оттуда быстрые слова:

– Кончается. Барыню буди. В тоске кинулась она наверх.

– Барыня, голубушка, Мунька кончается! Тетушка Люце спала на широкой постели, со слабым отсветом лампадок; старинно и печально было в этой комнате. Стояло древнее трюмо, резное и в ночном поблескиванье призрачное; пахло сладковатым.

– Царство Небесное, Господи, упокой душу!

И как старый человек, видавший много видов, стала тетя Люце на колени.

Сразу зашумели в доме, и, пробегая мимо комнаты братца, Аграфена машинально отворила дверь и вошла. Он сидел на кровати, тоненький, белый, встревоженный; сзади мгновенно пал кусок света, бросил его в глаза Аграфене, и потом, когда она притворила, худенькое белое виденье с голыми ногами запало ей вглубь, вызвав странный темный удар.

– Что такое?

– Мунька помер.

Но теперь она не думала уже о мертвом; смутная сладость пронизала ее глубоко, до костей, и на черном фоне ночи, смерти, страха вдруг поплыло нагое тело, девичьей белизны, с тонкой, чуть рождающейся прелестью мужчины.

Аграфена выскочила и сбежала вниз; увидев в кухне огонь, свет в Мунькиной комнатке, его самого недвижно лежащим с тонкой повязкой смерти – она зарыдала, сама не зная от чего.

Древняя няня молилась, в дверь выглянула Клавдия в ночной кофточке, потом проковыляла тетя Люце. Ночь шла. Ее великие панихиды простирались завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком. Так продолжалось до утра.

XV

В сороковой день смерти Муньки няня с Аграфеной ездили на кладбище. Извозчику было шестьдесят, он знал все про всех в городе, и ему можно было бы не говорить, куда, собственно, едут. День был зимний. Глубокие снега, как и прежде, укрыли город; тихие санки плыли по ним. Аграфена глядела по сторонам. Давно не бывала она так далеко от своей норы, и теперь, когда с окраинных улиц виднелась вдали Ока, зимне-синеющие просторы и горизонты, леса в снежных инеях, – ей вдруг представилось, что жизнь широко раздвинута, там на огромных пространствах также обитают люди, также можно куда-то уйти, стоять в снеговых полях, дышать острым и опьяняющим воздухом прежнего.

От этих мыслей у ней затуманилась голова. Между тем близко было кладбище. Оно лежало почти за городом на широкой возвышенности, господствуя над облаком инеевых деревьев, оно казалось белым облаком.

С большой тишиной и серьезностью вошли женщины в его ворота; на них не было ничего написано, но сразу другой воздух охватил; еще прозрачнее, суше, таинственнее. Особенно деревья обольщали; о, как они замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир.

«Какой там Мунька теперь?» И нельзя было поверить, что не такой же, не хладно-серебряный, не пронизанный молчанием снегов и инеев.

На могиле женщины совершили обряды; были тут поминальные яства, кутья и изюм; птицы – красногрудые снегири – перепархивали в ветвях, осыпая белый туман; ожидали, когда они удалятся.

– Ты, милая, уйди теперь, дай мне одной побыть.

Старческими коленями стала няня в снег и начала молиться. Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло из глуби и наполнило ее сладкой болью. В этом не было ничего странного, но как раз та секунда сказала ей с беспредельной ясностью, что близко, близко…

Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.

XVI

В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него, – глубокую его рану.

К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней ноги, белые, белые, как у девушки. В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда – отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.

– Кто тут?

– Я.

Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе – режущей сладостью утоляла свою любовь – такую плотскую, больную такую, темную, непонятную любовь.

Когда ранним утром, вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна; на постели лежало измученное тело – белый цвет и дикий, теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на него, не могла натрепетаться от острого, сорванного цветка: рождающегося мужчины.

Потом она проходила по пустым комнатам, на рассвете. Холодная тень, цвета пепла, легла ей на душу. Нечто темное встало, загородив дорогу. Так взяла она его.

XVII

Очень скоро узнала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.

К Клавдии часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце: сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам… Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками – кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать, – пусть бы сошли к ней, в подземную кухню, хлебнули ее горечи.

Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка, портрет той. Аграфену обожгло, но она сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще и по тем улицам, где ничего ему не надо было. Перед Масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут, – думала Аграфена, – все стрекочут». Как всегда, в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу.

В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками – показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.

– Ну, хороший мой человек, покажись! – Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой. – Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!

Потом она лукаво глянула на братца.

– Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.

Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.

Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна. Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледно-зеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.

Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали, ей хотелось громко кричать, криком отчаянья и безнадежности добиваемого зверя, которого подымают на рогатину. Братец возвратился на рассвете, туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.

– Хороша невеста-то?

Он ничего не ответил, прошел к себе.

XVIII

Темны были ночи Аграфены, черны, черны. Дикие мятели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь; но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей.

– Чем меня приколдовал, ангел мой белый, голубь сизокрылый? Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!

Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно: не любить, не любить!

Иногда, измучившись вконец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь, взяла скорее смерть – кончилась бы мука.

Но смерть не шла, братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.

А уж в доме знали о их связи – кто посмеивался, кто шипел; не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней: раз Аграфена, услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:

– Одну любит, а с другой живет.

Аграфена остро почуяла беду в этих словах; но, привыкши терпеть, не дрогнула и вошла спокойно.

Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном…

Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск, зеленый, в глазах?

– Мне тебя нужно, Аграфена. Молча прошли к нему в комнату.

– Я давно знал, что подлец. Слышишь? Давно. Аграфена качнулась слабо и взялась за ручку кровати.

– Я все время был подлецом. Я люблю не тебя… понимаешь, не тебя… Мучился… Хорошо это – тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о…

И дальше – слова. Бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.

А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовь, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал. Тут упал он на подушки, на свою кровать-ложе, рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.

Он вскочил.

– Вон! Уходи, не могу, вон, вон.

И опять упал. Она ушла. Это был конец.

XIX

После того дня Аграфена смолкла сразу.

Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некоторое время у госпожи Люце в оцепенении.

Стояла ранняя весна; звонили звонаря к вечерним, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.

Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана и голосом ясным, давно изведавшим, дал облегчение душевных тягот.

– Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно чистой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.

Аграфена ушла светлая, тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.

Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.

Она пошла к госпоже Люце и сообщила, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, погрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне, братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее простая душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою жениха, прихода которого она так долго, тщетно ждала.

Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его ступни, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и больную комнату она не возвращалась.

Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце: и этот дом, и этот город.

XX

Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади; а сейчас так тихо и просто покойно на душе, как не запомнит давно. «Ну, были разные дела, а теперь ничего нет, вот под яровое пашут, грачи ходят по комьям, зеленя взошли. Хорошие зеленя, нельзя ничего сказать, хорошие».

Напротив на лавке сидела баба во вдовьем платочке, черном с белым. Аграфене показалось, что и она теперь такая же вечная вдова. С этим нечто бело-траурное, ясное произошло в ее сердце.

От станции Ферязи до родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую и боковой тропкой большака, священным путем странников, меряющих родимые пустыни, тронулась в путь.

О ты, родина! О широкие твои сени – придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать.

Так брела Аграфена, широко ступая ногами в лаптях, упираясь рукой в длинный посох. И ее душа была раскрыта, детскими глазами глядело в нее вечно-синеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли слезы; временами они текли из глаз, падали на землю и были очень, очень соленые; а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как овраги.

На полпути, у взгорья, откуда были видны с детства любимые Усты, село-приход, она приотдохнула под екатерининской березой. Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула. Не прилегла даже, а полусидя, прислонясь к зеленому откосу. На лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная И в тот весенний час, в полудне пути от дому случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон: мимо, по бледно-зеленым зеленям, медленно и не страшно шла черная монашка. В руках у нее сосуд. Подошедши, спросила: «Ты раба Аграфена?» Она ответила: «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит, полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго, через мгновение она проснулась. Солнце шло уже к низу, надо было торопиться. Взяв котомку и палку, полная странным сном и ясностью великой, Аграфена зашагала далее.

XXI

Она вернулась в Кременки на закате дня. По-прежнему лежала маленькая деревня на склоне косогора, в одну линию домов и глядела окнами за овраг, в сады арендатора. Такая же липкая и черная грязь была на улице, гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами, ковыляли желтые утята, и неизвестные Аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы.

А вот дом, что взрастил ее, – старуха мать к ней кинулась.

– Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж? Все ждала, все глаза выплакала, тебя ждучи. Эх, состарилась, ласточка, уходилась.

– Теперь навсегда к вам, маменька, – Аграфене сладко и жутко, что ее, такую пожилую, обнимают и плачут с ней, как с ребенком. – Буду век свой с вами коротать. Что Анютка-то? Здорова ль?

А Анютку она не узнала б, если бы не здесь встретила. Только на мгновенье опять острым ножом полоснуло былое, Петр… но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее.

Ужинали, захлебываясь в рассказах; тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала, – но теперь Аграфена решила, на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь. После ужина долго не могла спать. В небе слабо сияли звездочки весенние, она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивали конопельные духи, до этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, что алел с прежней нежностью, обольщением. Струйка дальних журавлей тянула к западу; их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов: из дней далеких, прекрасных.

Аграфене жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе под вольным небом она трудилась честно; ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно. Загорало под солнцем, принимало прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымажку, держала ручку сохи и босиком, полурысцой поспевала за боронами. Крылатые дни неслись вереницей, благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май; июнь жег сочным пламенем, вспаивал луга поемные, куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней; там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль; месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла, таскала жбаны кваса из деревни и потом вязала. А дальше, в летне-золотеющие вечера июльские, они навивали снопами огромные возы и мирно везли их в риги. Анютка сидела наверху, напевала; кусала колосики, внизу шагала Аграфена, ласково и с думой глядела на нее: вот виден милый ей очерк, тонкой двенадцатилетней девочки. И пройдет четыре года, пять, как мать, погрузится она в муки и восторги любовные, как мать, припадет к чаше – что дано будет испить ей там? Кто скажет?

Подобные мысли туманили голову Аграфены; но о себе она знала, что такая жизнь, как она ведет, – без счастия и мыслей о нем, суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя, – есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, как ни глубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках.

XXII

В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, опалово-лиловое разливается в воздухе и кротки поля сжатые, Аграфена вела Анютку в усадьбу: старая барыня вызвалась отправить ее в город в школу вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза.

Аграфене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то, так давно, протекала ее любовь. Все поветшало; но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молотьбой; барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, с всегдашне спокойным и умным лицом. Аграфена поклонилась.

– Здравствуйте, вот девочку привела.

– Ну и хорошо.

Анютка стеснялась немного, но барыня опытно-ласковой рукой погладила ее, ободрила.

– Вот и хорошо. Кончит школу – место получит, в учительницы или еще куда.

Аграфена провела в имении с час; встречалась со знакомыми рабочими, признала даже Дамку, обратившуюся из щенка в старую, обильную сосками бабушку. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анюту, она нежно ее целовала и, наконец, сдав верной женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась.

Чуть видные, молочно-пепельные облачка тянули в небе; гроздья рябин краснели, внизу лежал пруд: кристальный, глубокий, – зеркало. У его берега не могла Аграфена не остановиться, и, смотря на прозрачные отраженья в нем деревьев, облаков, на свой зыбко-облегченный облик, глянувший из глубины, прожила она мгновения бессознательной мудрости, когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, чуть заволокнутая легкой слезой, но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, та печаль расставания, что глодала ее сейчас, на мгновение были приняты в светлое лоно. И там преобразились.

Помолчав, вздохнув, улыбнувшись, она продолжала путь. Когда подходила к Кременкам, розовая заря разлеглась на западе; от нее веяло тонкой, скорбной осенью.

XXIII

Наступила зима, с ней деревня стала строже и монотонней. Мать много болела, Аграфене одной приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло. Волосы ее седели, но нечто морозное и суховатое в ней появлялось. Будто становилась она прозрачнее, всегдашний внутренний траур выводил на лицо ясные морщины, спокойную приветливость.

По Анюте она скучала, хотя знала, что ей живется не плохо; получала от нее иногда письма, которые читать было большой радостью. Но приходилось искать чужой помощи в чтении: «Пусть, пусть свету глотнет, – думала, – не то что мы, темные, будет».

А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег снег, и к Святкам Кременки были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма; все хаты ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки; через них бедно лился внутрь свет. И долгие ночи проходили в завываниях мятелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшемся от морозу. Большие морозы выпали на тот год; бродячие странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу.

Нередко по ночам Аграфене не спалось. Много дум приходило ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большою силою она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя, но сколько ни думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. Иногда выходила на мороз, и зрелище синих, пылающих светил и глубокой порфиры неба, священных костров-созвездий говорило о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее.

Вспоминала она также свой дорожный сон; образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании отблеск апокалипсиса.

Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование стареющей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была неизвестна и минутами радовала, минутами пугала.

XXIV

Так прожила она – ровно и холодно – пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепко сжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей и скитальцев, – и в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времен, ни жалости, ни любви, ни даже, как казалось иногда, и вообще какого-нибудь смысла.

Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место – сиделицей винной лавки в деревне Гайтрово, в пяти верстах.

XXV

Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей-матерью.

С Анютой жила подруга – Маня. Обе служили. Обе носили похожие голубенькие платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело, а потом Аграфена степенно поила их чаем из пузатых чашек: синих с золотыми крестами. На Святках ездили по очереди в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах «Укажи мне такую обитель». «Хохотушки, молоды, – Аграфена улыбалась. – Ну, дай им Бог, дай Бог». Но этот учитель сразу стал ей неприятен.

«Долгогривый, – решила, – и что патлы жирные – нехорошо».

– Мамаша, знаете, Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского.

«Читал, читал, – Аграфена соображала свое, и мнения не меняла. – Хоть бы Господа Бога».

Девушки над ней смеялись весело и любовно; Анюта прибавляла:

– У меня мать консервативного образа мыслей. А он демократ.

Друг Каутского мог говорить разные вещи и бывал у них часто. Аграфена находила – чересчур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела и по ночам не спала долго – ворочалась, вздыхала. Аграфена соображала все это и тоже отмалчивалась. Но тревога подымалась в ней. Перед утром просыпалась она иногда, отирала пот со лба и внутренно крестилась; дай Бог Анюте, дай Бог.

XXVI

Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, ржам шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев; так же счастливы темно-синие васильки в хлебах. Так же девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков и скромной кашки душистой, девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его, и в ее глазах – Анютиных – цвет анютиных глазок; давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая серо-синеватым тоном. Ее жизнь раскрыта перед ней как великая небесная книга; за руку с милым, с другом Каутского, она убежала бы на край света. Но лучше – сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному и туда бросать венок и хохотать…

Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди.

Так идет в полях, отражая вечные образы любви, любовь дочери – там почти, где много лет назад загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душою – как мелькает Анютин венок васильковый во ржах, как всегдашняя Офелия сидит у пруда; и матери кажется, что это ожили ее года, пришла далекая ее весна, и многолетние глаза вбирают со слезой – прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет.

XXVII

«Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви; это были твои ранние дни – и опьяняющие. Но они прошли. Великое предначертанье повернуло от тебя лицо любви, любивший тебя полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением; а уже ты носила под сердцем росток нового человека. И не смогла снести этого. Кидалась к старой матери. Мать прокляла принесшего тебе несчастие; она ласкала тебя и утешала и на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала бредя. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные дни; острые ножи резали ее сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами».

«На вторые сутки, также перед зарей, мать задремала; проснувшись слегка, она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки, в руках у которой был сосуд с темной влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду, жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери: «Подаю тебе знак». Мать снова заснула. Ты же встала и прошла в предутренней росе к серебряному пруду – к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, ты бросилась в светлую водную глубину. Она приняла тебя, и ты погибла. Мать же продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась как вкопанная».

XXVIII

Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Но и протирая глаза не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежались, с лодки достали багром труп Анюты, уже слегка повитый водорослью. Прибежал батюшка; охал, утешал, но Аграфена не слушала. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, а стояло за горизонтом человеческих слов и чувств. Она молча склонилась к умершей.

Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними.

Потом надо было хоронить. Священник отказался. Аграфена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу.

Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И еще нравилось – старый святой обычай – насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам. А самой – сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок – лавры смерти. Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки. Но ее душа, опрозрачневшая и закалившаяся, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению; одна часть ее присутствовала уже не здесь.

XXIX

Было утро. Тайное, тихое. Солнце медленно вышло к миру и сквозь бедные облака одело землю в светло-перловые облачения. Они реяли над полями бледно-зелеными, бродили мягкими пятнами.

Аграфена, возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней жизнь, и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас, немолодой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тех дальних глубин. Волнение ее росло.

Задыхаясь, Аграфена остановилась: вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, волны божественного, ослепляющего нисходят навстречу.

Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.

«Господи, Господи, Ты явился мне, Ты все у меня взял, вот я нищая перед Тобой, но я познала Тебя в великой Твоей силе, Господи, я вижу Твою славу, Господи, возьми меня, я Твоя, я Тебя люблю».

В эти минуты она познала свою жизнь до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, жить она больше не может.

XXX

Весь тот день, весь вечер провела Аграфена молча. Строго, торжественно было в ее душе.

Она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки. Теперь она знала все и ждала.

Пред зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно-розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.

Тогда сквозь утреннее безмолвие неспавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд.

«Здравствуй, раба Аграфена». – «Здравствуй». – «Готова ли?» – «Готова». Монахиня ей поклонилась. «Вкуси». Аграфена медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли Мою сладость? Идешь ли?» – «Слышу, – ответил наполовину не ее голос. – Иду».

Монахиня подала ей руку, она взяла ее – медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».

Это были последние слова.

1908 г.

Священник Кронид
Рассказ

О. Кронид, крепкий, шестидесятилетний сильный человек, идет в церковь. Много лет он живет уж тут, мужики его уважают и зовут Кроном; а он исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет за собой приход.

Служить вечерню после сна днем не очень легко. Кроме того, Великий пост – время трудное; в церкви Бог знает сколько народу; много рваного мужичья, худых баб, исповедей; часто отрыгивают редькой и постным маслом, – а потом идут все грехи. Какие у них грехи? Все одно и то же бабье мямленье, поклоны, а мужики все ругались в году, пили водку.

Старый Крон и не жалуется, он человек рабочий, честный; тридцать лет попом, имеет камилавку, служит быстро и просто, как научила деревня.

Не один он действует тут; за его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров; все они трудились здесь. Крон помнит деда Петра; тот видел еще французов; а Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служит теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал «поповку», где теперь притч и жены-мироносицы. Много старых, морщинистых стариков перемерло на Кроновом веку, – с некоторыми из них он ребенком играл в лапту, – и всех он просто и хорошо хоронил, на кладбище за селом. Иногда вспоминает он их дедов, тех, с кем жил его отец и дед, и еще много других, кого не знает, но которые были тогда, и неизвестными ушли отсюда – все в одно место, туда же на кладбище, где и о. Петр, Никодим и другие.

У самого Крона пять сыновей – семинаристы, все здоровые, хорошие дубы. Крон, думая о них, мечтает, где они будут жить, плодиться, служить; как бы им преподать свою мудрость, – жизнь трудна, какой приход, какой притч? Выйдут ли в своих, будут ли твердыми попами?

Только трудно их доставлять домой на Пасху, дорог нету, вода, грязь, в низком месте лошадь тонет чуть не по уши. Придется самому ехать, туда еще кой-как можно, крутобрюхие лошаденки дотащут, но в городе отец Крон уже задумывается; все теплей и теплей, большая вода должна шуметь теперь по логам. А пятеро двуногих ждут, им тоже хочется домой, поржать на весенней свободе; дома пекут куличи, ждет мамаша, приволье, церковь.

Тогда Крон берет верховых. Седел нет, конечно. Стелют попонки, тяжело наваливаются на лошадей – едут. Впереди отец Кронид, сзади дети. Хорошо, что не в санях: сейчас же за городом, в пяти верстах, надо вплавь; лошади вытягивают вперед морды, как плывущие крысы; Крон подбирает рясу, попята гогочут сзади и тоже плывут. Крон важен: все-таки шестая неделя, духовный человек верхом – как бы не вышло смешно. Но знакомые мужики в деревнях кланяются, как всегда, только ребятишки бегут сзади и визжат.

Дома просторное поповское житье, плодоносная матушка, весна и шум; могущественно вздуваются куличи; пруд целиком взломан и изгроможден рыхлым льдом; но тепло идет, и выпуклые взгорья горячо мокнут в свете. Большая суетня у матушки; много бегают по кладовым с маслами и всякими значительными снадобьями для булочного дела.

Семинарам все свое тут; а Крон в это время работает уже в церкви; ему теперь много надо молиться и хлопотать; то читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать. Дни идут в служении; а ночи темны на Страстной – только гудят вечные потоки да в небе пылают звезды на черном бархате. По дороге домой из церкви нехитро и оступиться в лужу, но идти приятно: сзади дети, пятеро начинающих басков; в церкви они помогали, хорошо пели и давали ноту силы службе. Есть на кого опереться, когда станет тяжко от годов.

«Молодая армия», – думает Крон, а дома уж торжественно, матушка всесильная одолела все заботы Пасхи, раскрасила яйца в победные цвета и спокойна: хотя б и Страшный суд.

Но и воскресенье близко; весна далеко ушла за это время, все уж серо, парно; время погожее, заутреня должна бы быть хорошей и благодатной. Все дьячки, старосты, дьякона готовятся: это их день, верхняя точка жизни. И всюду по деревням идут сборы: топят бани, где поглуше, моются прямо в печках, залезая в узкое жерло, как черви; с мужицких тел, жестких, в едком соку, смывают многомесячную грязь; вытаскивают чистые рубахи, даже белые, с красной ластовицей под мышкой, подстригают затылки; поплевав, скоблят шею обломком косы. В глухих углах бабы напяливают на головы рогатые кички, в ушах у них утиные пушки. Громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране, тащит пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня.

В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно, и Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, а звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви ход с гимном, кажется, что светлая волна трижды опоясывает во мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи; капает, и пот стекает по мужицким лицам; временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки.

К часу двум люди устают; Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, а обедня длинна. Когда-то святить пасхи? Два часа, народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, «благочестивейший», с дрожащими руками и ястребиным носом; за благочестивейшим просто парень с тарелочкой, и идет сбор; мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно; соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку, в церкви народу меньше; много молодежи в ограде на лавочках; детишки смелей снуют между взрослых, кой-кто у печки примостился даже спать; толкутся, блеск и фейерверк гаснет, а земля встречает своего бога в силе и свете. Только благочестивейший без умолку звенит денежками у прилавка, точно собирается продавать Воскресшего; выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями.

Часа в четыре разбредутся.

Этот день для Крона труден; спать уж почти некогда, в девять надо выезжать за данью. Запрягают поповскую тележку; рядом с Кроном краснощекий юнец, в сюртуке, с огромными руками. Там, на месте действия, он будет раздувать батюшке ладан, петь и конфузиться помещиков.

О. Кронид прочно сидит в тележке; солнце греет; над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку – ему в профиль видны крепкие Кроновы брови и ласковая под солнцем борода.

В усадьбе Крона почитают за основательность, за ум; в столовых, со свечкой перед образом, он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет волосы после молебна; затем разговляется. Юноша – на краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой – о войне, о разных случаях в уезде: кто где умер, кто как хозяйничает: выпивают, но Крон неуязвим; юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно перекатывая кадыком.

Потом Крон уезжает и так же работает у всех помещиков, мудро беседует и временами поглядывает на юношу: не перегружен ли.

В это время деревни выглядят моложе, на взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном; на желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качелей; на веревках, под тягу сильного ветра, кумачные пятна высоко взлетают кверху.

Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя, праздник. Праздник целую неделю, и в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы – гости, а время уходит; и сам Крон недоволен.

По очереди на Пасху деревни «подымают иконы». Это значит, впереди Крон с дьяконом, а сзади несут хоругви; идут веселой гурьбой по дороге, поют «Христос Воскресе»; теплый ветер хорошо дует сбоку, хоругвеносцы храбро потеют, а дома все ждут. И назад, когда Крон уедет на лошади, иконы и знамена несут полем, напрямки. В начинающемся вечеру бредут по жнивью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит на иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уж время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут; на угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки; странно находить эти мелкие живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припаривает, в сереньких осинничках водятся фиалки; слабый приторный запах идет волной, а они стоят, нежные, обратив к югу и солнцу фиаловые головки, как милые феи; но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички на озера; они летят один за другим на минутном расстоянии, и тихо стонут, чтобы не потеряться.

Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами; коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык; крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащат из деревни пастухам полудновать, а назад бредут по жнивью задумчиво и бесхитростно; поднимают палки, навязывая на них тряпочки-хоругви – поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков; над ними же струится светлый весенний ток; анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома на крыше голубоватее, и бревна в избах будто дышат.

В день Егория Крону работа: за деревней, в поле бывает молебен – благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность, лошади покойны, и важны, как добрые работники, только жеребятки ветрообразны: легко на длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места на место. Стоят молчаливые бабы; Пасха прошла уже, время серьезное и нужное, красных нарядов нету; лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами, и зубы стерты наполовину, ровно, как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят на них, думают о чем-то, пока Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает на мирный отгул.

Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю; радостная весна. Сам Крон, владелец ста десятин, доволен и не жалуется; сверху гремело уже раз, при глубочайшем тепле и могущественных тучах; блистало, трахало благодатно и раскатисто, а перед ударом бледная молния осеняла траву.

– Экая сила, – говорил о. Кронид и крестился.

Потом все уносилось, словно чья-то забава на небе, но на полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной гущей, ползла под ногой. Но на другой день опять выходило на небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине.

После обеда, перед сном, Крон выходил на скамеечку у пруда. Большой пруд, перед нежилой усадьбой на той стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, а в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам; временами мягкие плотвички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел

домой. Дорогой размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль или надует? И правда, дома ждали всякие клиенты, а вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало, «все живот». Маленькие гробики легко и быстро тащат на кладбище на горе, в дальний угол; здесь много детских холмиков; среди них трава, а рядом канава с полынью. Очень далеко видно отсюда; славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо; Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль; в мерном полете кадильница сначала подымается над горизонтом в небе, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер, дымок бледно и покорно стелется, сизеет. Сзади плачет баба; красный юноша подпевает. Скоро опускают гробик – и конец.

Крон проходит могилами: деревянные кресты местами набок, заросли травой; деревьев на кладбище нет, вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер, иногда ласточка садится отдохнуть.

Крон останавливается у отца и крестится; здесь вырезано даже имя; сейчас, при опускающемся милом солнце, на памятнике горит свет; высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах.

Близко Троица, а там, через неделю – ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, а небо радостно-сине, как было ужасно давно, в детстве. Шумящие, дорогие березки стоят в церкви; тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах перед образами деревца; когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье; ветерок через окошко шевелит ветки, а из ребячьих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползались с праздничных кустов. В лесу, в диких местах, девки завивают венки – связывают березки верхушками; получается свод; а они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в низинах пеструю траву кукушку; она растет печальная и странная, непонятным цветком; маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как нежившую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании.

Уже много травы отросло на лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем; длиннейший кнут ползет за ним змеей, лицо его коричнево, а волосы снегообразны. Странно видеть это серебро на крутом пастушьем теле; ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки; на темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой, на лошади, верхом, в зипуне, стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик, – всегда светлы и полные полевого ветра его глазки; иногда они слезятся; но слеза только омывает их.

На ярмарку съезжается деревня со всех концов. За Кроновым селом, на выгоне, разбивают палатки; кишат телеги, оглобли торчат кверху; стоит пыль и бурленье, пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож на лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами: трудно жить впроголодь, надо уступать. Кровавые прасолы валяются в траве за ярмаркой, у дорог, чтобы перехватывать скотину и скупать до торга.

Часа в два-три выходит посмотреть и Крон; на ярмарке бродят уже три жиденьких иерея из округи; жалобнее всех один; косы сзади у него еще не отрасли, грудь узка, ряса путается; рядом мощная матушка в мантильках и шляпке с цветами. Ветер треплет красные цветы и вот-вот выдует душу и мозг из плоскогрудого отца. Он потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалея, здоровается с урядником. Бедная «сельская полиция» – в пыли и ссохлась от старости, она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется на казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, а на ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов.

У бакалея Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках; он ищет пакли для школы; но пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней, быстро мокнут люди,

набрасывают на себя рогожи, прячутся под телеги; с лошадей льет; живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея, слепящий удар разрывает воздух; издалека, с почерневшей земли исходит сладкий запах; трава слабеет под грозой, млеет.

Крон скрылся у бакалея и посмеивается на дождь; наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову.

Через полчаса тучи уже нет; облака, грудами в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит на небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветет растрепанными шапками, и к отцу Кроniду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тепел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими желтыми глазами; весь он, как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом.

На другой день, перед вечером, небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девствен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лознике, который пахнет так же, как и когда Крону было девять лет, на песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины, а потом сразу появляются на берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы.

Крон медленно подымается на гору за рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей; ему надо в Дмитрово, здесь близко прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара: довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу; полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз на село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. На краю зеленейшего клевера стоит зайчик; он выбежал веселым галопцем на теплую зорю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся на задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в десяти шагах; высоко подбрасывает задом на фоне бледно-прозрачного неба.

Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете.

На заре, возвращаясь домой, отец Кронид слышит первого перепела. Он мягко трещит и предвещает знойный июнь и ночи сухороса.

1905 г.

Улица Святого Николая
Очерк

I

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром – кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов. Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом – там – в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется – душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком – локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль – тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов – ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого – Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах, с лифтами, – кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о

Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата – Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный – спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале «Праги» пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома – сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины – роскошь новая; новые мостовые, новый, нерусский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя – Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты – все себе равно, или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается – впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик – демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж «Эрмитажем» и «Прагою». Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату – и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные – для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же – издатель, и спирит, и мистик, собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг – юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады – лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но все-таки он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей – заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе – еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот – распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по «Метрополям», «Прагам», «Эрмитажам». Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет, и сутолока, веселье, блеск – одним забава – труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое, и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это так, все только так, для формы. Прежнее – все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же – строгий и покойный лик.

И снова – строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в «Праге» – думают надстроить новое святилище – выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником – за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый,

все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате, смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий – над великой пустотой поднявшийся: танго.

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы сладкий плен полуразврата-полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час – призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце, и мила Москва, и горько – уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится – и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там – дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу – голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова – бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет – из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока – поблекли «Праги», «Метрополи», «Эрмитажи», и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов – знак кровавого креста над ними, знак печали-милости, – и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет – и все как было и как будет – тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая – и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром, – святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой – и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго – и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные свободной Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага и все тому подобное. Лишь более

прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив – утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И вовремя, и вовремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично – прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля, и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты, и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо – в пламени ль пожаров, в мирных ли цигарках. И ты идешь домой, серый герой, трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дома, добро делят. Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться – да не там – не так.

И ты увидел, наконец, Арбат, опять войну – не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами – ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux’ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же серых все героев; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы героев серых, возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов – все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину – в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая – впрочем, пусто в них, как и в желудке, – но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну что ж, давать, так отдавать! Все равно, нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла – скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни – солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих – за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар – от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов – эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью – или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий, разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами – путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные – „Реже“, „Ява“, „Ира“! И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пентаграммой на фуражках, отбирают себе «Иру». Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» – и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты

– близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца, и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!» «Слышали – ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!» Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые – и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же – все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой, – он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз, и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного – всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный – утром, гудят спокойные и важные колокола троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных – фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки какие-то, из скромных – может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепенившее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных – все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья – это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал – ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая, – стала тихнуть. Утомились воевать, и ненавидеть; начал силу забирать обычный день – атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бем на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой людей.

А ты живешь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боялся пуль и лишь замолк на время, он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва, 1921 г.

Уединение
Очерк

Павлу Муратову
O beata solitudo! O sola beatitude![1]

Грохот и ветер, пыль рушащегося. Кровь, голод и сытый жир. Речи, собрания. Шум разговоров. Вдруг человек остановится, прочитает стихи. Лишь сонет прочтет. Задумается. И захочет на минуту быть один. Тут же, у стола, в час ночной, в смутном громе событий и пустяков, вот уже основал малый скит на базаре, в проходной комнате, в уплотненном логове. Прозвенит в нем к заутрене бледно-серебряным стихом Петрарка. И рука Лауры проплывет, в шелковой перчатке, шитой золотом.

Это уединение. Час стояния тихого – и ответа. Как живешь, человек? Помолчи. И будь скромен. Не думай, что такой уж подвиг – замечтаться над стихом. В ином подвиг. Тебе – далеко! Очень далеко тебе до подвига. Но побудь в своей киновии придорожной. Седьмой этаж. Окно растворено на переулок. Гигантский тополь под окном, с мелочно-зеленеющей листвой. Несколько галок, очень смирных, жирноблещущих крылами. Небо смутно-пепельное; да две башни вдалеке, два близнеца музея Исторического. Московский летний вечер. Сидят и говорят – у самовара за столом. В блюдечке вишни спелые. И древняя икона красно-золотеет на стене. Жена выходит из соседней комнаты. Слегка подведены глаза, слегка духи, слегка изящество; походкой легкой, отдаленной удаляется из дома. – До свиданья! Пустынен дом и холодеет несколько. Ушла жена. Куда? Зачем? Быть может, и за пустяком. Быть может, нет. Но дом один. И галки перелетывают в тополе ветвистом. Синий вечер. Ты идешь в лиловеющей полумгле, с бледно зажегшимся шаром электричества. И ты один, пустынен, легок и неслышен в пестрой сутолоке бульвара, в море лиц, фигур, желаний и сердцебиений. Не одна жена уходит. Жизни начинаются, текут, расходятся. Ты же медленно идешь уже по переулку, вспоминаешь что-то о себе и своей жизни и не знаешь, вспомнишь ли, да нужно ли и вспоминать? Обгоняет пара. Это древнее, все то же, милое и жаркое. Ты помнишь? Ночь, приветствуй сердце. Ликом ясным и прохладным нас овей.

…ma questa altera
Tacita, stanca, dopo se mi chiama[2].

Священник просто произносит в алтаре: «Мир всем!» И дальше: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Где лазурь, сияние, весна? Нельзя без них ведь. Там же. Все в напеве, в символе, в мистерии. В ней выступаем мы за жизнь, мы любим. Где любовь, когда мы вышли? Усмотрю ли брата в звере? И отдам ли душу прокаженному?

О смутные утра и ночи тяжкие, тяжелые раздумья. Кровь вскипает. Нету кротости. И Ты далек тогда, Ты, смерть за нас приявший.

Быть может, мы народ полюбим? Мы, выросшие на народолюбии, воспитанные на Платонах Каратаевых, Живых Мощах?

Быть может.

Видели вы смерть?

[1] О благословенное уединение! О одинокое блаженство! (ит.).

[2] Но тот, другой, молчаливый пруд с тех пор меня призывает (ит.).

День весенний. Переулок Палашевский. Сильно каплет с крыш, и лужи, и лазурь. Бежит народ, и выстрелы. «Ограбили!» Матрос вталкивает девочку в калитку. Бледное лицо, злое. И вдруг тихо стало, уж не бегут, идут все мрачные, и только солнце светит. В тишине и пустоте из ворот дома выезжают розвальни. На них поклажа. Укрыта некиим брезентом. Да, но странно, ноги выглянули. «Что такое?» – «Не видишь – люди!» Лошадь тяжко влегла в хомут свой; солдат шагает рядом. «Да что, за что?» – «Вон, во дворе прикончили, у стенки. Больше ничего». Прохожий сумрачен, и зол, и стыден. Солнцу же не стыдно. И конек мужицкий среди бела дня везет по улицам Москвы тела казненных.

Или так: ветер, буря, тьма кудлатая. Вокзал малого городка. Поезд. Вой толпы осаждающей. Лезут и лезут все, безымянные, в черноте, под блеск фонаря задуваемого. Бабы и бабы, и мужики, узлы, дети. Где начало их, где их конец? Слова, рев ругательств. Темная ночь! Выпустила ты всех нас, детей своих, смутною хлябью. Мы – это ты. Ты – мы. Нас ветер подхватывает, приклады толкают, и мы изрыгаем себя, в тебя, с яростью. Р-раз, р-раз! Как сухо, резко. Противный звук. Точно раскололось что-то. Вновь гудение, и поезд в лохмах тел скучно удаляется к реке, к мосту железному, и скучно, на перроне обширном такая же толпа осталась, ей в лицо бьет тот же ветер, пасмы хмурой ночи. Что ж, недалек рассвет ноябрьский. Мрак в теле зябнущем. А посереет на востоке, выдвинется низенькое, красноватое строение – вокзал; даль серая, бесплодное заречье. В суетне присмотришься к носилкам. Тут же водрузились, у дверей. Молодой человек, ничком, стриженный, с виском простреленным. Собака обнюхивает; ноги разутые из-под шинели. Да, по нечаянности. Народ пужали. Разве сладишь с ними? Ну, понятно, надо бы повыше, через головы. Не разберешь в проклятой мгле. – А сапоги? – Сапоги новые. Не пропадать же. Сотня косых. – Э-эх, ироды! Мальчишка ведь. – Чего там! Красный крест, сестра дежурная, двое носильщиков. И ничего не было, все выдумка ночи неистовой, толпы неистовой черно-пронзающего ноября. Ну, несись, черный корабль ночей ноябрьских, лети вперед, морем вскипающим, корабль страданий, бед, к берегам новым, кровавя след за собой. Твори судьбу. Страшен ты, да и велик, путь твой – не тропиночка, бег твой – крылатый скок. А над бегом, и над бурей, и над грохотом – небо превечное с ночною синью и звездой недвижною. Звезда бессмертная! Твердь золотая над смерчем.

Мещанский домик, в том же городишке, ночь, теплая комната и постель мягкая. Пахнет чуть сладковато. Часы тикают. За окном же ночь синяя, с легким морозцем мартовским, со звездой, крупно-блещущей в уголке окна. За перегородкой тоненькой девичьи голоса, негромко, как бы боязливо. – Ну, а по-твоему, душа бессмертна? – Конечно. Так и Петр Андреевич говорит. Тело умрет, а дух вновь воплотится с тем, чтоб совершенствоваться. Если прожил недостойно, то душе труднее вознестись. – Петр Андреевич уж всегда о чем-нибудь таком пророчествует. – Не пророчествует, а наверно, это правда. Нет, душа не может умереть. Ведь и любовь бессмертна. Тихо за окном. Пустынна и голубовата улица с садами за забором. Полночь бьет. Звезда в стекле дробится, искрится, уходит. Уединение Воклюза, Сорга, жизнь Петрарки. Отдаленные прогулки по холмам в Провансе. И ручьи. И реки светлые. И светлый воздух, светлые стихи. Все – сон. Все – нежность, стон любви, томленье смерти. Но ведь жизнь свирепа? Да и будет ли мягка? Мы любим. А не любят – нас. За что же и любить? Как будто не за что. Нам – не любовь. Но мы не захолустье. Великий, мировой путь, это мы. Смерть – наш хозяин; кровь – утучнение полей; стон – песня. И для чего-то нужны мы.

Любитель просвещения, мужик черноволосый, библиотекой нашей восхищавшийся, встречает на вокзале. Вечер. За Окой садится солнце. Мутно-розовеет. У телеги Ким увязывает вещи. Почитатель пожимает руку, ухмыляется.

– Ну как же, просто на телеге, да на этакой. Э-эх, народ неблагодарный! Да ведь это просвещенье! Ведь познания какие… книги! Это ведь понять, осмыслить, значит… А они еще неблагодарны…

Тут он умиляется до крайности, вдруг снова схватывает руку – и целует. Вот так раз! В смущении собрался закурить – нет спичек. Поклонник снова взвыл.

– Нет спичек! Ну скажи, пожалуйста, у нашего у барина…

И далее, и далее. Когда чрез несколько минут уж едем, догоняет. Весь вспотел, зубы блестят, лицо сияет, черные патлы свисают.

– На дорожку-то… Далече…

Тычет мне три спички.

– У нашего у барина… без спичек… Ну, скажи, пожалуйста.

Русь, ширь и мгла! Сумрак синеющий, реянье звезд, поле пустынное, шорохи ветра, Млечный Путь в небе, светло-туманный. Гремит телега. И пылит. Нас догоняют парою. И обгоняют – с гиком, свистом.

– Эй-й, барин, держись, бар-р-рин!

Злобно, дерзко. Кто я им? Они кто? Видно, выпивши. Баба визжит в телеге, и катят дальше, полем пустынным, русская вольница, русская злоба. Мы трусцой догоняем. Хохот. Визг, матерщина. Все на нас, на мой облик, на то, что я в шляпе, в пальто.

– А барынька…

И опять скачут. Из поля дикого дикие песни, вой дикий. Ветер же бледно шуршит, ласково, песней свирельной, столь легкой, столь нежной. По воздушным клавишам несется перстом девичьим… Их раздражает, когда, догнавши, я приказываю остановиться, чтобы ждать удаления. Мне скучно с ними. Им – обидно, давнею обидой, может быть, и вековою. И безбрежные поля, в ночи синеющей, вновь оглашают они.

– А барынька…

В малом лесочке – полдороги до дому – они останавливаются. Здесь нередко грабят. Место пустынное. Здесь не услышат, не узнают. Дорогу заслонили – не объедешь. Опять стоим. Закуриваю папироску. И у них огонь, и снова брань, снова сердиты, что не хочу к ним подъехать. Вдруг хлестнули по коням, по рытвинам лесной дороги покатили, зверски прыгая в телеге на толчках. Едем все шагом. Выезжаем – поле ровное, прозрачной сини; и все тот же ветерок берет арпеджио перстами девичьими.

Пофыркивает лошадь. И телега наша погромыхивает. Где ж те? Исчезли, сгинули? Звезды бледнеют. Серебряное, тихое прошло по ночи. Перепел – пить-перевить, пить-перевить. Ветерок загасил Млечный Путь. Идет рассвет. Скоро ли? Скоро ль? Никто не оскорбляет уж раздольных мест, светлых одежд предутренних, сребродышащих. Вновь ты, земля, – да небо, да Господь. Значит, так и надо? Пролететь телеге дикой в ночи синей – сгинуть. Может быть, и надо. Звезды забелеют чище пред рассветом и прозрачней сумрак, пряней конопляный дух вблизи деревни. Сердце – таешь ли, иль ужасаешься? Звезда проходит в горних. Дикарь бунтует. Все под покровом ночи. Одинокая ночь города. В комнате сумрачно. Под красным колпачком из шелка пятно света на столе. Угасли окна через улицу; и лишь упорный труженик внизу все строчит что-то, пишет, и спины не разгибает. Редко удается, но и хорошо работать в час уединения. Единый господин себе, едина воля, сладостен покой. Живее мысль играет – отделенная, но и всему родная. Все – мое, доступно, охватимо. И когда устанет голова, то возьми ключ и тросточку, шляпу надень, никого не будя, тихо сойдешь лестницей, где кошка прыгнет, в переулок, что к Арбату. Как все знакомо здесь! И старо, и ново, мило, грустно, кладбище и росток жизни. В младости летали на извозчиках, мечтали над закатами, ходили на свиданья, неслись в туманно-пестрой жизни. Видели позже мрак и разорение, и окна заколоченные, тротуары выбитые. Горестных стариков с милостынкой; старух полубезумных. Видели ряды салазок с кладью, надрывающихся женщин, тащущих

бревно украденное – для печурок; и народ, в поте лица бредущий серединой улицы, сугробами. Брели и сами, волоча трубу, диваны, старый шкаф. Но уходит все, меняется, проносится; и жизнь не ждет, и час идет.

Все спят. Здоровые и сытые, больные и замученные. Луна блестит. Арбат в луне сияет, золотеет крест на церкви Николая; одинокие шаги стучат… Мир, отдохни! Завтра жизнь новая, новые страсти, тяготы, мучения. Но сейчас луна так светит. Так высоко, чисто в небе, так безбрежно в сердце.

Мимо Николая Чудотворца, что с иконою на улицу, пройдешь в церковный двор. Увидишь там бассейн, старинный, где журчит вода, и мох, и плесень, точно бы родник Ютурны в Риме. Закоулком, мимо домиков едва дышащих выйдешь в новый переулок, вновь в ворота и наискось пересечешь развалины домов, среди травы и свежей поросли. Фундаменты видны еще под грудой кирпичей. Вот и тот дом, где жил, маленький гроб отшедшего, руины бурнопламенной эпохи. Лишь кошки, как на форуме Траяна. Лишь луна и тишина, и сокращенный разрушеньем путь, и блеск стекла в куче развалин. В печали, небрежении лежишь, мой город. Но из пепла возродишься. Но ты жив, хоть и немотствуешь.

Рука судеб. Воля Божеств. Синяя твердь, пустынное море. Звон светло-серебряный стиха Петрарки. Дай любви – вынести. Дай веры – ждать.

Москва, 1921 г

Преподобный Сергий Радонежский
Переложение жития

Предисловие

Св. Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.

Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому. Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящейся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.

Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт – очень скромный – вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.

Присмотримся же к его жизни.

Париж, 1924 г.

Весна

Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа[3].

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда – Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники – то начало ищущее, мечтательно противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

Есть колебания в годе рождения святого: 1314–1322. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются, и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – этою чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

– Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей – через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

---

[3] Епифаний – монах Троице-Сергиевой лавры. В молодости путешествовал на Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек, писатель, автор древнейшего жития Сергия, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему. Написано оно не позже 25–30 лет по смерти Сергия.

– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает – даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, его больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные, – нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их – зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является свое. Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет – призвание. Никто не принуждает к аскетизму – он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой печатью. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение), но какое чувство меры! Сын остается именно послушным сыном, житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, с семьей, духом родного дома и считался, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренно за эти годы отрочества, ранней юности в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

Выступление

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что – карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова», – а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников – «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую– во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История за них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась над удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.